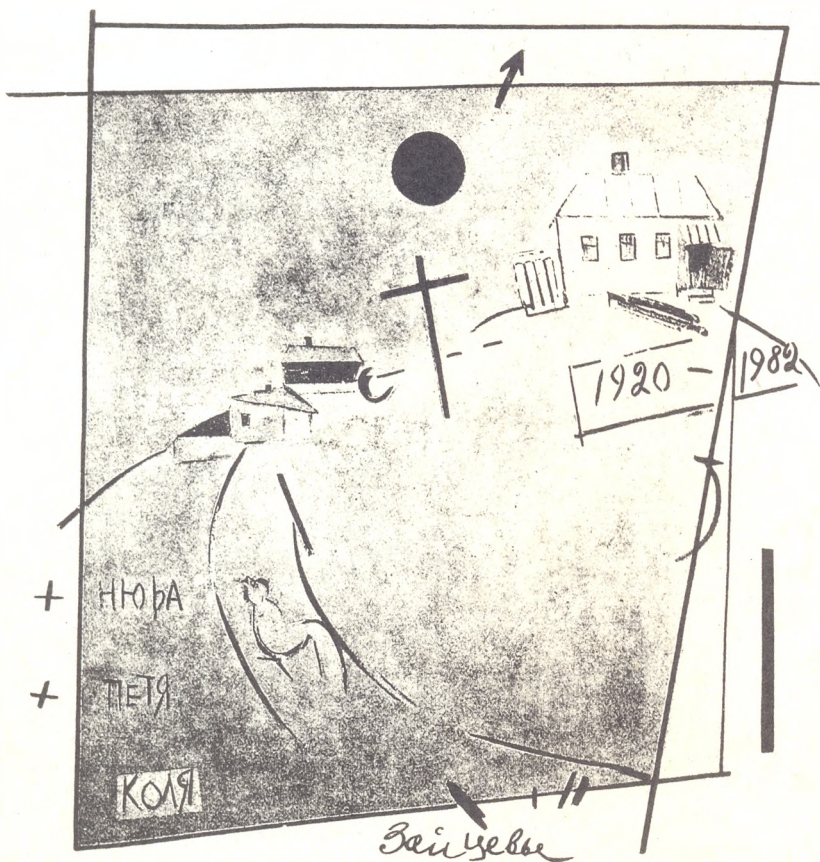


ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

ОТТИСК



Издание второе, исправленное и дополненное.

Первое издание : Умса-Press, Paris, 1985.

Издание осуществлено за счет средств друзей автора.

Кублановский Ю. М. Оттиск. Стихи.
М. Прометей -- Литературно-художественное агенство "ТОЗА", 1989. 32 стр.

Редактор *В. Д. Алейников*
Художник *Э. А. Штейнберг*
Технический редактор *Е.Н. Макарова*
Корректор *А. Л. Лейкин*
Фотограф *В. С. Печников*

Сдано в набор 27.10.89. Подписано к печати 30.10.89.
Формат 60 х 90/32. Бумага газ. журн. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 2. Тираж 3000 экз. Заказ 75. Цена 2 руб. Л.–48596

Издательство "Прометей" МГПИ им. В. И. Ленина,
Литературно-художественное агенство "ТОЗА",
119048, Москва, ул. Усачева 64.

"Петит", Производственно-издательский комбинат ЦНИИТЭИ

Юрий Кублановский



ОТТИСК

ОТТИСК

Москва

Издательство "Прометей" МГПИ им. В. И. Ленина

1990

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В дни, когда возвращается друг...

Нет ни охоты, ни надобности оговариваться – через силу, понимая всю нелепость, даже чудовищность такой оговорки: приезжает на время. Ведь не “из дальних странствий возвратись”, как в неведомые нам мифически-романтические времена, таким капризным и своерольным балансом судьбы, навидавшись всякого, вдосталь помотавшись по миру и, конечно же, не на шутку стосковавшись по дому. Какая там романтика! Где она, идилличность, дозволенность ртутного перетекания, передвижения через условные границы? Наша эпоха – иная, скажем так, все остальное – за этой инакостью, не нужны комментарии, опыт велик, и сейчас не до иносказаний, ибо правда бывшего и настоящего жива собственным светом.

На родину – не на побывку ведь, не в отпуск, не в роли туриста или “допущенного” до въезда, до пребывания в родных пределах лица. На родину – всегда только возвращаются. Впрочем, с нею, несмотря на известные жизненные обстоятельства, и не расстаются – сердцем, душой. Дух един, несгибаем и вечен. Примеров светлого возвращения – при жизни ли, после смерти ли, – предостаточно.

И Юрий Кублановский, принужденный покинуть родину семь лет назад, не мыслит себя вне России. Говорю это прямо, потому что знаю: да, это так и есть.

Словно некое зеркало было разбито вдребезги тогда, в конце сентября 82-го, – да только не самим поэтом, а кем-то другим, вернее, другими, – разбито так, чтобы неповадно было, чтобы и осколков не собрать, чтобы как в темечко – сзади, негаданно, смаху, дабы рухнул вниз лицом в стекла, в ошметки целого, истек болью и кровью и уже не встал, – но разбивали-то другие, вот и переиначилось жутковатое старое убеждение в семи годах несчастья, обернулось новым, трагическим, конечно, но исполненным крепости, гордости, честности здравым смыслом, – и встал человек, и стал еще более осознанно жить, и – сказал. Ибо дарованную свыше речь – не отобрать, не убить, не спрятать.

И нынешнее возвращение поэта – обильными публикациями в отечественной периодике, изданными в зарубежье книгами и этой вот первой выходящей на родине книгой, наконец – въяве, вживе, – событие значительное, неминуемое, закономерное.

С Юрием Кублановским мы накрепко сдружились осенью 1964 года. Вместе учились на отделении истории и теории искусств исторического факультета МГУ. Вместе жили в унылой комнате студенческого общежития. Вместе знакомились с представителями тогдашней неофициальной нашей культуры, открывали для себя Москву, иногда путешествовали.

Оба стали лидерами СМОГа – замечательного, уже легендарного содружества молодых поэтов, прозаиков, художников, – а потом, наряду с нашими товарищами, вынесли всю тяжесть разгрома и травли, испили свои немалые дозы из круговой чаши последствий, омрачивших на десятилетия благословенную нашу молодость. Оба мы были приезжими, я – из Кривого Рога, Юра – из Рыбинска, но как-то сразу, буквально с первых же дней жизни в столице, стали мы везде, где любили поэзию, своими, были приняты, вхожи в такие дома, в такие собрания единомышленников, куда чужим вход был заказан, – опять-таки характерная черта той поры.

“Слово живет лишь в отзывчивой среде”, – сформулировал некогда Чаадаев. Такая среда, слава Богу, у нас была. Она поддерживала, питала. Очевидно, и мы питали ее, давали импульсы, токи, говоря проще – были позарез нужны. Отсюда и взаимопонимание, и доверие, и определенная раскрепощенность. Типичная для тех лет бегемотность существования была еще не отягощена страхом, метаниями по стране, поисками пропитания, пристанища, отклика.

Десятилетие спустя в стихах, обращенных к Юре, словно предвидя грядущее, я писал: “Да прославится зрячее око, Из листьев создавая мосты, Чтобы впрямь оказаться далеко, Где не ждут от кочевий ключей И не мучит кошмар-соглядатай, Где не прячется в гуще ночей Кублановский – сверчок бородатый.”

Окончание на 3 стр. обложки

* * *

Сын, мужавший – за семью замками
от моих речей,
все равно когда-нибудь глазами,
честный книгочей,
пробежишь хоть по диагонали
эти горбыли –
жидкие парижские скрижали
бати на мели,
писанные, точно бороною,
шедшей под углом,
кто там вспомнит – под какой звездой
за каким столом...

Но когда полакомит пороша
горку и межу,
высохшее сердце потревожа,
– землю, где лежу,
и упруго в крест ударит ветер,
я пойму, что т а к
ты впервой увидел и приветил
мой словесный знак.
Словно ветка выделила иней
из себя самой.
потому, чем дольше – тем чужбинней
праху под сырой.

13 октября 1983

* * *

Королевич в мундирчике синем
грозь под мышкой беспечно зажал
в ненадежной версальской твердыне,
между тем как уже дребезжал
в недалеском Париже безбожник,
убеждая, что ждать невтерпеж,
и хвалил адвокату чертежник
механический рубящий нож.

Бедный мальчик Людовик Людвейч,
как ужасно красно в зеркалах!
Не твое ремесло, королевич,
быть подручным в сапожных делах,
дурно пахнущих луковым супом,
спину горбя и Богу грубя.
Ничего, – за последним уступом
я еще постою за тебя.

15 октября 1983

* * *

Ростовщицьи кленовые грабки
зажимают парижскую мглу,
и навряд ли доходны и зябки
сны взлохмаченных астр на углу...
Ночью в лаковом логове чарку
исчерпав на глубоком хлебке,
наконец подношу зажигалку
настоящую – к сонной строке

и сквозь желтое марево вижу,
как ершится неоновый еж.
И люблю и вдвойне ненавижу
неродной европейский грабеж.
И кофейная мгла полотенца
неизменно сливается с той,
с коей вы Робеспьера-младенца
и убийцу – везли на убой.

Как не вспомнить родную берлогу,
где давно начала плесневеть
на тиране, закутанном в тогу,
бессловесная русская медь.
Чем глядеть, как убойной десницей
указует он жертву орлам,
лучше б впрямь хитроумной лисицей
обернуться в курятнике нам.

17 октября 1983

* * *

Н. Б.

1.

Старый форт ежевикой
за откосом откос
сладкоколкой и дикой
непроглядно зарос.
Бастионы и флечи
над движеньем волны,
амбразуры и бреши
обреченным верны.

Мы – изменники, дети,
побежденная знать,
нам не следко не свете
ежевику клевать
в самой темной аллее
павшей раз навсегда
цитадели Вандей,
а казалось – тверда.

Где-то нашей отваге,
может быть, вопреки
пахнут порохом стяги,

кипарисом древки
и железом граница.
Как далеко сейчас
в алом пепле столица,
упутившая нас!

На кремнистой ступени,
перетертой ходьбой,
ежевичные тени
перешли в голубой
и иссякший бесследно
в позднем мареве дня,
— где уже не заметно
ни тебя ни меня.

сентябрь

2.

Парой парусных прочных
леонардовых крыл
обзаводится летчик.
И каштан обронил
прямо в лунку ступени
из кремнистых пород
под зеленые тени
свой каштановый плод.

В маслянистом размыве
на его скорлупе,
в уходящем обрыве
из-под ног по тропе
и в парящем над нами
на крылах летуне
(схожих с теми, что в раме
на музейной стене

вкрест раскинули оси,
образуя каркас)
— европейская осень,
пощадившая нас!
Кладовые отваги:
платяной кипарис,
в задубевшие стяги
наподобие риз

втерты крапины дуста,
что калужский снежок.
И мерещится — густо
затрубивший рожок.
Так Россия прощала
орды галлов-детей.
А теперь обнищала
так, что плачем о ней.

октябрь

3.

В поздно жухнувшей пойме
обмелевшей реки,
где топорщили проймы
и тунили клинки
бородатые дяди,
дыбля потных коней
и заманчиво глядя
из-под шляпных полей,

сладко дремлют поляны.
Только тут или там
барабанят каштаны
по кремнистым тропам.
И в подвал под карнизом,
где пропах реквизит
платяным кипарисом,
тоже солнце сквозит.

Но не шелком, не фетром
снизу тянет сейчас,
а — рябичкой под ветром,
поминающим нас
на скрещении смоленских
и калужских путей,
нас — своих, деревенских,
заслуживших плетей.

...замерзала пехота.
Опершись на забор,
колпаком санкюлота
ей махал гувернер.
Нас тасует как хочет
Дух, пока Азраил
о твердыню не сточит
леонардовых крыл.

октябрь 1983

* * *

...Не русский снежок заглушает горниста
и снегом заносит по грудь,
— сама гильотина пророческим свистом
напутствует головы в путь.
Не листик березы приклеился в бане
к руке с деревянным ковшом,
— зарвавшийся вождь в полотняном тюрбане
погиб на посту нагишом.

...Бывает, над рощами эхо-подранок
зазывно умножится так,
что н а ш и м становится впрямь не до санок,
говения и кулебяк.
Лишь прадед на печке натянет овчину,
припомнив еще Пугача,
да правнук в потемках прихватит дубину,
чтоб хряпнуть пришельца с плеча.

...Посыпни-ка солью на старые раны,
взгляни свысока на Париж.
Два века мы лезли в чужие карманы,
пока не нащупали шиш.
Чем горше вино — тем похмелье слаще.
Чем злей — тем смиреннее речь.
В готической полурастительной чаще
попробуй себя уберечь.

12 октября 1983

* * *

Где каштаны неохватны в стружьях,
век толки — а все не раздобишь
твой орешек в европейской ступе,
с козырьками красными Париж!

...Далеко за псковским буераком
в непроглядный долгий снегопад
я из тех — кто, помнится, оплакал
каждый камень в кладке баррикад

и беспечный завтрак на лужайке,
— но теперь по праву голытьбы
сам примкнул к неблагоприятной стайке
отрешенных от твоей судьбы,

лишь чуток помешкав возле стойки,
как последний честный графоман,
порешивший с шапочной попойки
не вернуться, вывернув карман.

1983

БАРКИ

Ветхие барки на вечном приколе
возле пожухших раки,
схожие с волжскими...

Только на воле
всякий буксир басовит.
И забываешь родные фистулы
у пристаней вполукруг,
сведшие чуть не чувашские скулы
нам по-черемушьи вдруг.

Лишь осыпаются в тайные тропы,
что в котловину с высот,
розово-желтые

гребни Европы
у Люксембургских ворот
и, как родильные споры, роится
прахообразная ржа,

где на углу с сигареткой томится
в черных чулках госпожа.

ноябрь 1983

* * *

Над Шатле, куда по осени
в крысий карцер без окон
на солому грозно бросили
страстотерпицу Манон,
вырастает отформованный
в преисподней сгоряча
облак – током нашпигованный
херувимского луча.

Стушевавшаяся выскочка
крови малоголубой,
перламутровая кисточка
потрудилась над тобой
и кисейными обносками.
Гулкобрусчатый Париж
с гильотинными подмостками,
с одалисками-подростками
целомудрен и бесстыж.

.....

Может статья, неоплатную
истощенную твою
ласку встречную не жадную
все по-новой узнаю,
– что мерещусь чаще прежнего
неопознанным с лица,
залосневшего, медвежьего,
разом – зверя и ловца.

ноябрь 1984

ДВЕ ОТКРЫТКИ

Если дата слилась с грязнотцой,
закорючки причуда
призывает: "родной!",
значит точно о т т у д а,
где скрипящая тишь
под игольчатым глянцем,
ты по-новой блазнишь
приходить самозванцем.

Буду ль впредь под чужим
листопадом, ссыпаемым в тropy,
ожидать, недвижим,
как покатаются камни Европы,
или каждую пядь
отдавая сначала без толку,
попытаюсь опять
наступать на Москву- хлебосолку?

...Я открытку найду:
окаймившую сумеречь лога
золотую грядку,
саламандру и единорога.

Чтобы цензор ослеп,
впопыхах обжигались почтарки,
между гибельных скреп
пропуская такие подарки.

1983

ПАМЯТИ ДРУГА

Под заснеженной землей
пусть горит мое окошко.

Л. Г.

1

Весть, как могла, добиралась сама:
стала просторней родная тюрьма.
Перекрестясь, басурман
брал недотраченный молью треух,
вострил под сальными космами слух,
прятал тетради в карман
и — к электричке.

На даче одна
заросль шаров золотых зелена,
держится там до конца.
Ветер заглядывает в дымоход,
тоже нашелся еще доброхот,
думает, встретил глупца...

Мною нарочно потерянный рай:
хлеб под рогожей, под толем сарай.
Так бы и умер, прибрав
комнату к празднику, землю к рукам,
и подоткнув к занемевшим бокам
драповый влажный рукав.

24 сентября

2

Если поежиться, встать да пойти,
станет туман зависать на пути
и облепиха встречаться,
вдруг обдавая недавним дождем.
Жизнь — ратоборство,
но толку-то в нем?
Можно бы и побрататься,

друг!

Неужели там,, правда, петля?
Или в груди все затихло, деля
свет на неравные части?
В нашей — еще не завьюжило. Что ж
стало тебе поджидать нестерпимеж
— в нежное умер ненастье?

...В лаковых недрах парижских трущоб
припоминаю убожество, гроб,
черный лавсан и рубаху.
Видим и сами — что он недалек,
твой под холодной землей огонек,
и поспешаем без страху.

25 сентября

3

В лаковом мраке парижских трущоб
припоминаю подстриженный чуб,
топ башмака между тропов и стоп
и с залосневшей овчиной тулун,
— это ч и т а л поспешивший птенец
так и несбывшейся нашей весны,
не помышляя про скорый конец
путаной яви, похожей на сны.

Сладко ль — с натруженным телом в ночи,
водкой на дне, папироской в зубах?
Скоро и нам протрубят трубачи
судные сборы на небесах!

Скоро приступим чуть не гуртом,
благо в дорогу не надо добра,
прямо к сторожке с открытым окном
старого ключника дядьки Петра.
Ласково ль глянешь на прежних друзей,
Божьих конюшен верный слуга,
ты — выводя белокрылых коней
на замутненные солнцем луга?

25 сентября 1983

ПЕЙЗАЖ СОРОКИ

Даше

Олифовая сетка трещин,
когда под ней
усадебный закат обещан,
еще родней.
Стремя варяжскую гондолу,
подросток крепостной
отводит гладь назад — к приколу
под сенью навесной.
А у другого — из осины
упругая уда,
чья леса пущена над тиной
неведомо куда.

И у меня такое было:
когда-то с кондочка
взахлест раскручивал грузило,
плевал на червячка.

Как селезень, на перепаде
сломивший крыльев ось
я прыгал в лодку на закате,
раскинув руки врозь.
Далекий час, вместивший сплотку
таких минут,
что каждая берет за глотку
и душит тут.

12 декабря 1983

ХИМЕРА

А далеко, на севере – в Париже –
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует.

Пушкин

Морщинит фаланги ветвей
ноябрьская непогодь-мга.
Среди истонченных камней
приметная издалика,
как будто победа за ней,
химера щетинит бока.

И впрямь: хоть не выела моль
еще моего барахла
в России, где крупная соль
на нашу дорогу легла,

– но вот уже год на чужом
могу ль говорить языке,
когда, словно ткань под ножом,
родной от меня вдалеке?

Поднимется в Стиксе вода,
которую не отчерпать,
и только, быть может, тогда
мы сможем друг друга узнать.

Каштаны посыпались на
с зелено-багряным огнем
жаровню, что ночью видна
и кажется ржавою днем.

Так наша разлука бедна,
хоть жар ее ярк при том!

1983

СОГЛАСНО ГЕРАЛЬДИКЕ

Куда ни обернусь,
– неизменно с крылом прободенным
примерещится гусь,
хоть охотник в доспехе стотонном

гулок не по-людски,
дашь щелчка – далеко отзовется:
загремит над Чудским
и на Рейн рикошетом вернется.

*

И кабанчик, клыкаст,
по бокам отливающий медью,
следом деру задаст,
показавши хвосток междометью
– панславчнскому "о!"
Налегке не пугайся, родная:
не услышит никто,
сколько гласных молчит, подступая.

*

Прорезинен реглан,
до границ не расхищена слава
атлантических стран.
Масса дымная волн величаво
поднимается в рост.
И на скользкую палубу либо
покоробленный холст
– залетает кровавая рыба.

*

И повсюду – куда ни взгляни:
на резные ли стены с опаской,
в заостренные окна-огни,
– увлекают оскаленной пасткой
саламандры. И надо ж в гербе
завести их то порознь, то в паре,
задремавших на камне-судьбе
и юлящих у глаз при пожаре.

*

Что корона царя,
иглы дикообраза
неизменно зазря
поднялись до отказа.
Знать, хотели тетерь
припугнуть из резного сусека.
Но бессмысленный зверь
все равно не страшней человека.

*

Суждено умереть
прямо в каменнострельчатой вязи.
Но секирой медведь
замахнувшись, зовет восвоеси:
"Приходи – разошьем".
...Чтобы где-нибудь около Волги
прорастая репьем,
исключить о себе кривотолки.

1983

* * *

I.

В заросшем форту ежевикой спелой
с брусчаткою гулкой на дне,
в успеньи — меж розами Алой и Белой,
ребята, Европа в огне!
— схватившем оленьи рогатые шпили,
на стенах резную траву...
И с винной пропиткой кровавые были
мерещатся вдруг наяву.

Наивная дева и впрямь ухватила
руками быка за рога,
когда ледяную пучину штормило,
навстречу несло облака.

Европа, Европа, ты спишь без подушек,
покорная женской судьбе.
И только на севере мертвые души
хранят еще верность тебе.
Как будто трубит возрожденец-вельможа,
привставший на мерине в рост,
калужские дали дразня и тревожа
уж тем, что горазд и непрост.

10 декабря

II.

Успенье — меж розами Алой и Белой,
пока высекал вороной,
над балкою перелетев обгорелой,
искру из кремня мостовой.
Нам жалко тебя, припозднившийся всадник
с разбухшим раструбом ботфорт,
ты зря переспелый давил виноградник,
перчаткой сгребал натюрморт,

где равно роскошны гранат и капуста.
Лишь кто-то на северном дне
зовет, хоть вокруг уже темно и пусто:
ребята, Европа в огне!

Тебе ли, Европа, не знать поименно
безбожных своих сыновей?
Недаром они тебя ждали влюбленно
среди помраченных степей...
Плетнями повалятся в жижу границы.
И твой обветшалый покров
еще поплывет с торжеством плащаницы
поверх присмиривших голов.

9 декабря 1983

* * *

Заменяли Всевышнего — ересью,
доказуемой с пеной у рта,
Робеспьера с подвязанной челюстью
на телеге везли, что шута,
за два века полмира профукали,
потеряли на севере ять,
кое-как раскусили, расчухали,
поправели, заелись опять...
Лишь в ночи, в чьи расщелины узкие
над снегами запаяна сталь,
теплой водкою мальчишки русские
поминают мадам де Ламбаль.

12 октября 1983

* * *

Ведьму ль замуж выдают?

Пушкин

Камлания выюги
над выюшкой печной,
чьи стоны упруги
в прозябке ночной.
Ветвистые вешки
на санном пути
расставлены в спешке.
И против шерсти
голодного волка
не гладь я вваре,
моя богомолка
в лесном серебре.

Бесследно огромной
родной стороне —
как горница темной,
когда по весне
молодка-царица
над люлькой с птенцом,
подобная птице
на лапке с кольцом,
меня подгузник,
склонится — и в крик,
— лишь Бог и союзник,
он равно велик.

13 декабря 1983

ПЛАТОК

Возьми платок — вспомнешь!

Б.

1.

Неизбежное закланье
неизбывных дней
— словно противостоянье
елочных огней
иль отек аквамарина
на большом листе,
чья ржавеет сердцевина,
что клепа в кресте.

Слышу, слышу зов губерний
над ершистым льдом,
вижу зарослями терний
ослепленный дом
и над ними масок львиных
подлинный оскал.
С крапом лапок воробьиных
снежный перевал.

Кто с того вернется света,
пусть доверит мне:
чем сроднимо то — и это
белое в огне
притяженье зимних улиц,
где чужой каток
и не греет детских скулец
маменькин платок.

24 января

2.

Эй, под елями лохмастыми
теневого аквамарин,
изнутри с рубцами красными
лучевыми апельсин
— мне окликнуть вас с альпийского
удается гребешка
в смеси ветра италийского
и арийского душка.

Пригодился б тут вспомнутьый,
увлажненный ртом чуток,
в пояснице перетянутый,
щеку колющий платок,
чье рядом в запас уволено
после выслуги годин,
верный друг Аники-воина
из суворовских дружин.

Пересохла, перетаяли
санный след, желанный плод,
где беспечно шавки лаяли

На идущий с громом лед.
...Преломив, из крови вынула
жизнь отрезанный ломоть
прежде чем к плечам прикинула
крест — готовная щепоть.

26 января 1984.

В АЛЬПАХ

с т а н с ы

Мне хочется снова с тобой
уйти за альпийскую складку,
за гребень ее вихревой
— незнамо с какого устатку.
Чтоб вместе с лазурью вверху
окрест обрывалась твердыня
и фалды на рыбьем меху
нам ветер трепал, парусиня.

Чужие — мы дышим чужим
дыханием роскоши вьюжной.
Наш собственный двор недвижим
с продажей и куплей подушной
всего-то в каких-нибудь двух
— внушающих смертным зевоту
виденьем крыла на плаву —
часах самолетного лету.

Тебе, чье отрочество там,
подобно жемчужине в рыбе
вотще недоступное нам,
осталось на тувльском отшибе,
таясь, не скатать волоски
протертых стежков рукавицы,
спугнувшей со снежной доски
тень послевоенной синицы.

Все тридцать пять прожитых зим
под космосом в блещущих пробах
уже отпевал серафим,
когда проводила на скобах
подбитая войлоком дверь
долгой — из родного зимаовья,
где чьим-то затылком теперь
прямью мое изголовье.

Легко ли туда, торопясь,
вернуться теперь бестелесным
и верящим во Ипостась
с Ее одиночеством крестным?
Не может быть дольше красна
и страшно с исподу червива
земля, чья растрата ясна
и мга не в пример долгогрива.

* * *

До-гетевой лепки
альпийский алтарь слепоокий.
Из бронзовой репки
под мраморный глянec протоки
бегут, расплетаясь.
Но так тяжело Иисусу,
что свечи, пугаясь,
всей стаей сбиваются к брусу.

Когда ослепляет
спасения чистая пытка,
Господь наполняет
глазницы белком до избытка
под обручем терний
и ставит пред оные кратно
две русские тени,
которых не пустят обратно.

8 марта 1984

НА ЛОТАРИНГСКИХ ХОЛМАХ ЕЩЕ ЗИМНО...

Нине

На лотарингских холмах еще зимно
блещет в хвое белена.
В темно-серебряном пламени гривна
солнца совсем холодна.

Трансевропейская встречная тряска,
вынос из тьмы дуговой
— в сон, загруженную было развязку
подлинной встречи с тобой.

...Издалека, где темна оболочка
сумерек в кронах седых
и рассыпалась бенгальская точка
верных снегурок твоих,

вдруг на поверхность выносит течение
стаю отроческих рыб.
И начинается коловращенье
сердца, пока не погиб.

Словно зажал на уроке когда-то
в потной щепоти мелок,
слыша ухватчиво и воровато
сдавленный твой шепоток.

март 1984

* * *

Житуха, жизнь – в ее единственном
числе, не емлющем дробей,
не умножаемом, таинственном,
подобно родине моей,
заросшей по глаза крапивою,
клонимую за оком,
погостной бузиной ретивою,
боярышником и репьем.

Почувствовав ожесточение
отроческое по весне,
чье заповедное значение
всего отчетливей во сне,
железо на морозе липкое,
бывало, тронешь языком...
Начнешь могилой, кончишь зыбкою
за зазеркалевшим окном

– чтоб наобум в альпийской замети
передвигаться чуть не вплавать,
преображая жадно в памяти
утраченную напрочь явь,
догосудареву, былинную,
благовестившую окрест,
где ныне – лишь волну чужбинную
глушилка воинская ест.

март 1984

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1.

Н.

От кленовой разлапины,
далеко перетлевшей во мгле,
уцелевшие крапины
на чужой полулевой земле,
утопающей в зелени
и слепящей в щелях жалюзи,
– то к античной расщелине
притулимся в замшелой грязи,
то лекалом бездонного
нас канала потянет под моос,
где на клюве у лебеда сонного
костяной громоздится нарост.

4 марта

II.

И

В дни апреля, на сломе их
я увижу, уснув вдалеке,
как мы в шляпах соломенных
в полдень с пляжа плелись в Судаке
вкривь тропой подгорною
к глинобитной хибаре Бруни.
Будто музыку черную,
все последние дни
я в ветвях перекошенных
слышу хрипы про милый предел...
Словно русские гнезда, брошены
в них терновые комья омел.

8 марта

III.

Звезды южные в инее
узнаваемом, но
их не знаю по имени,
ибо каждое странно, чудно.
Лишь одно утешительно,
что не сеять, не жать,
а под ними решительно
в черной яме лежать
победителем-неучем,
забывающим честно словарь,
понимая, что не о ч е м
говорить – сквозь трухлеющий ларь.

8 марта 1983

ВЕСНА В ГАЛЛИИ

Жадная жимолость крепится к каждому
в славных морщинах стволу
лескообразными нитями влажными
по перелескам Сен-Клу.

Вдруг за Версалем гнездо янсенистское
ожило, зазеленев.
Что-то зазывное, родине близкое
в промельке – между дерев.

И роговицу наполнив, проклянется
вдруг опресненная соль.
Разом и нищенка и толстосумица
– жизнь перельется в глаголь.

Знаю, что был нерадивым хозяином,
как полагается т а м :
ходко губил я ее по окраинам,
волгло студил по морям,

пережимая веслом над уключиной
сердце, стучавшее в клеть.
...Честно теперь в одиночестве скученном,
где мудрено зеленеть,

лишь над гранитом запаянной яминой
пламенно холоден дрок,
— ей причитается несколько каменных
невразумительных строк.

1984

* * *

Не спеши отрешаться — утешимся,
нам не век у чужих куковать,
молодясь, на экзаменах срежемся,
станем шапками птицам махать

по весне, когда воду грабастая,
у придавленных камнем плотин
собираются с шумом зубастые
аллигаторы тающих льдин.

Будем чай зверобоем заваривать,
кочергою угар ворошить,
уминая бумажное зарево,
и Великим постом — не грешить.

...Только надо поджаться, дыхания
поднабрать в терпеливую грудь,
чтобы вольно менять очертания
облаков, преграждающих путь.

Не беда, что ты тоже беспечная,
стало быть, уцелеем верней.
Европейская ночь бесконечная,
слава Богу, не будет черней.

12 октября 1983

ПОД ЭПИГРАФОМ ГЕТЕ

Wer nie sein Brot mit Tränen ass...

Вкруг беглеца
зона кольца
потерь.
Память не спит,
щедро кропит
солью ломоть теперь.

Сам посчитай
пени за пай
зерну,
за перелив
ивовых грив
в волну.

Новый набег
тютчевских рек
сюда —
в рощи дотоль.
Только глаголь
— мать моего стыда.

...Думали б р а т ь .
Зайцем петлять
с утра
за тридцать пять
было кончать
пора.

Воля — она
духом бедна
на грош.
Зелень — холмам,
музыка — нам:
слышишь, когда не ждешь.

май 1984

* * *

И. П.

Письма с родины — страшное дело!
Просит каждую Божию ночь
все там от густоты до пробела
что-то сделать и как-то помочь.

Как свечу к потемневшему Лику,
в непривычно окрепшей горсти
Время краденной ряби толику
в снеговую пустыню нести.

...Да, мы видели пинии Рима,
честно слепли в альпийском огне.
По весне в абрикосовом дыме
удавалось беспамятство мне,

но чем выше наводят границу,
тем бессоннее тянет опять,
обратясь пепелищною спицей,
над чащобным пределом летать,

где еще не остыли могилы
победителей-узников и
до родин подытожены силы,
слабокрылые силы мои.

1984

ПОВТОРЕНИЕ

Ты не расслышала, а я не повторил.

Г. И.

I.

Вспомнив искру трамвая
под ветвью с имперским обличем,
вдруг тебя обретаю
в твоём обиталище птичьём
у серебряной рюмки,
чьё донце подобно светилу.
Почтальону из сумки
эти строки достать не под силу.
Эй! Прощальная мета
на руке, словно стигма, упорна.
С того самого света
мне её насылать не зазорно.

II.

Эти тикалки – ах, неподкупны,
их искусный левша собирал,
шестеренок песок целокупный
на ладонь экономно ссыпал.
А уже маятник – новое чудо,
на которое жмурилась ты,
придержать бы, казалось, не худо
малахитовой подле плиты,
столь легко его ход усыпляет
по сравнению с тем – что теперь,
увелича замах, ударяет
в нашу хлипко закрытую дверь.

III.

Метель шелестела б в трубе,
как будто лавровым венком,
а Новиков пусть бы себе
тачал за печатным станком.
И падали б мерно пушай
листовки, ложась в полукруг,
с таинственным знаком "прощай",
еще не разгаданным вдруг.
Зачем тишина с багрецом
в морозном оконном яйце
наводит – рубец за рубцом
на русском мучнистом лице?

IV.

Снег то пушист, то игольчато кромчат,
– как не берег я наших алмазов?
Выпил и лепит какую захочет
снежную бабу себе Карамазов.
В каждом подвале – бельмо на окошке,
в проходниках – вавилоны полениц,

впрок поперек возведенных дорожки,
коей спешат легионы изменниц.
Вот и тебе нафталиновый тулупчик
надобен, скроенный бедно, продольно.
Да ведь и я не раскормленный купчик:
знаешь, как сердцу далекому больно?

V.

С плацов и подступов выдуло за ночь,
точно с жаровен, листву.
Это России готовились напрочь
выжечь в глазах синеву
и ощипать во всемирную парку
с райским пером Гамаюн.
Знать, для того и бежали под арку,
мяли лаптями чугуны.
Страшно за звезды: от вспышки до вспышки
только о том и радел,
как бы не отняли их, что излишки
у костенеющих тел.

VI.

Если впрямь ничего не останется,
разве волны да лапчатый лист,
но один через пустошь потянется
на слепой огонек акменст
– как начнет просыпаться брусчатая
с платяным недоходным нутром,
от болотного гнуса зачатая
второпях миродержцем Петром
молодая столица империи,
– так останется только ползти
к алтарю в золотом оперении,
захрипев новобрачной "прости".

VII.

...Где шпиль, подавшийся
под ангелом последним,
и сад, оставшийся
неисправимо Летним,
хоть крепко заперты
в дощатые халупы
богини, паперти
похожи на уступы,
ветрам, нас выжившим,
приснимся, как казвившим:

ты – не расслышавшей,
а я – не повторившим.

11 декабря 1983

* * *

Мертвое красное
море сухой черепицы.
Что-то напрасное
понову в сердце стучится,

словно ручается
честное слово за птичье:
вновь повстречается
с чаемым ликом – обличье.

В сумерки қарие
вдруг подступивший Емеля
– к Верхней Баварии
мачтовых зарослей хмеля

сроду не видывал
там – где с железкой для весу
в тину закидывал
хмарь рассекавшую лесу,

да не сподобился
славного лова далеко,
спился, угробился,
выклевал око за око.

...Рыбка, взыгравшая
в ржавом ведре у невежи,
шла в уловлявшие
сетчатым парусом мрежи,
чуть не истлевшие
было на солнечной спице,
поднаторевшие
соль оставлять в роговице.

сентябрь 1984

* * *

Дух-голубь отлетел под купол слепоокий
от темного окна
не сякнувшего из подреберной протоки,
пробитой сгоряча
в зенит распятия, подобный фотоснимку
доподлинностью... За
альпийским ельником опаловую дымку
оставила гроза.
Греми, Германия, бубенчиковой сбруей
стад с пажитями в масть!
Верни, великая, восточную худую
свою же часть.
Столь почитающей реальность трупных пятен
на теле Божества,

всю анатомию его холмов и впадин
– не может быть замес судьбы безблагодатен
 во имя торжества
не касок с рожками, лишь раздраживших волю
 в чужой тюрьме,
– но крестной крепости, вступившей с нами в долю
 хотя б в уме.

сентябрь 1984

НА РЕЙНЕ

1.

Рейнские воды скорее
паводков вешних в сто крат
мамки своей Лорелеи
мимо летят и летят.
И золотое сеченье
солнца клубится дымком
в обеспеченье
ангельских сил молоком.

В тутошной грозной глубинке
без шишаков и брони
с демонами в поединке
не проиграли они.
Было б верней кулаками,
но не касаясь земли,
звонкими рати клинками
благовестили вдали.

Дети в обносках, в метели
двигаясь, свечи зажгли.
Как там... Низы захотели,
ибо верхи не смогли.
И в разворот окоёма,
разом поверхностью всей
вспыхнув, погасла плерома.
С тех приснопамятных дней

в башен руинах по склонам
древние птицы живут,
зоркие, сколь благосклонны
к падали, редкостной тут.
С дальних лишь троп Гёльдерлина
слышится лакомый писк.
Вереск с душком розмарина
это и есть тамариск.

И молотящая семя
потусторонних миров
машет, как мельница, всеми
крыльями роза ветров.
Искру, что вьющийся волос,
гонит холодная в на-
электризованный хворост
средневекового сна.

...Мне отплывающий в Лету
больше корабль по душе.
Он в навигацию эту
верно последний уже.
Словно с записками стрелы
пущены в небо с кормы.
Вот потому-то по белой
палубе мечемся мы.

2.

Нерукотворная флора,
ирисы вкуче с репьем
в парусном своде собора
вытканы над алтарём.
И басовитая льётся
музыка, словно с небес.
Кажется, что остаётся
каждому жизни в обрез.

Где серокрылые ели
кучно теснятся вдали,
дети в обносках, в метели
двигаясь, свечи зажгли.
Смотрят на нас, как живые,
в штольнях веков-рудников
лица уже испытые
маленьких тех батраков.

Сыплется сверху намерен
из мешковины помол.
Непролезающий в двери
хворост в вязанках тяжёл.
Белый ли, тёмный ли, алый,
весь в мириадах огней,
Отче, яви нам хоть малый
краешек ризы Твоей!

...В средневековых руинах
над виноградниками
к ночи затих голубиный
спор со стервятниками.
И шевеля бахромою
крыльев, то скопом, то в ряд
над закипевшей рекою
зоркие птицы летят.

Баржи груженные – к цели
вовсе неведомой нам
еле
движутся встречно волнам.
И в розмариновом мраке
предупреждающий
всё ослепительней бакен,
тускло мерцающий.

Близится час рукопашной
ангелов с духами лжи.
Так почему же так страшно
мне и тебе – подкажи.
Словно с записками стрелы
пущены в небо с кормы.
Вот потому-то по белой
палубе мечемся мы.

1989

* * *

Шиповник померз и пожух
на снежной колючей дуге.
И льется по гальке Изар,
прибрежный смывая ледок.
Под самые сумерки вдруг
наплыв благовеста с холма
на пойму – воздушной волной
уходит в предгорья Альп.

.....
Так вот ты какая, тоска
по родине. Хворост свечей.
Дух-голубь вскрылил в облака
в сиянии реек-лучей.
Как будто целебной слюной
вдруг веки помазали нам.
И надо тропинкой одной
спешить к вифлеемским яслям.

24 января 1985

* * *

Под сводчатым черным зонтом
спасаясь от легкой пурги,
на таинство инок спешит,
под ряской скрипят башмаки.
У исповедальных кабин,
как водится, нет никого.
Меж взвинченной пены лепнин
алтарный чернеет багрец.

.....
Но кто покарает грабеж,
когда у свечного огня,
ты сонное царство вспугнешь,
решась отойти от меня?
Мне скулы под сорок светло
кощунство на родине – там
где вместе ни разу светло
и узанно не было нам.

22 января 1985

* * *

В предклиросном светлом крыле
за тусклым надежным стеклом
святыня: нетленный скелет
угодника гуннских времен.
Унизана каждая кость
рядком драгоценных камней.
И в серых фалангах зажат
на нас указующий жезл.

.....

Да вот, любодейка-судьба,
в каких ты пасешься яслях!
Навряд ли твоя колотьба
отсель растрясет Ярославль,
дремотный – на двух берегах,
бесследно вобравших багрец,
по грудь утонувший в снегах,
чей холод дошел до сердец.

22 января 1985

* * *

(вариация)

Угодник – за толстым стеклом.
Сапфиры, рубины, жемчуг
усыпали густо, тусклы,
священные кости его.
Загадочно бронзовый жезл
фалангами сохлыми сжат.
И липкий снежок на окно
ложится, скрывая погост.

.....

В заволжской ночи невпрогляд
есть тоже Святая земля.
Еще за нее постоят
репейники и конопля.
Когда в ее белой волне
ее же начнут и топить,
найдется угодник – на дне
мальков обращать и крестить.

24 января 1985

КУПИНА ПАЛИМАЯ

В поле безродном – купина, палимая
беглым осенним огнем.
Жизнь искарежена, непоправимая
тянется ночью и днем.
Кажется, уж поослабил удавочку,
что же все туже она?

Эй, кровопийца,
закрой свою лавочку!
Всю бормотуху до дна
выжрал мужик, по распутице чавкая.
Крепок дешевый табак.

...Где одичалые бобики, гавкая,
руку оближут за так,
страшно в России быть заживо сваренным
в клетке с поддувом под дверь.

.....
Страшно с кайлом неподъемным – под Сталиным.
Страшно – под тем кто теперь.

ноябрь 1982

ПАМЯТИ АЛАПАЕВСКИХ УЗНИКОВ

Все время за окном проходит часовой,
Не просто человек, другого стерегущий...

Вл. Палей

Их вывезли ночью в скрипучих возках,
беззвучно буксующей в звездных песках,
по левую руку Урала.
Дивясь, мужики заприметили то,
да только из чащи не крикнул никто,
ладонью завесив кресало.
По потному крупу ходила шлея.
Пудовая плечи встречала хвоя.
Слеза истощалась в морщине.
Заржал ли зазывно некормленный конь
под ветром с сивушным приказом "огонь!",
пронесшимся в черной лошине?

Все вспомнилось разом: волна и скиты,
ахилловой твердая поступь пяты,
где радуя, где безобразя,
сугубых заставок наивная вязь,
багрившая лирику, не торопясь,
не ею великого князя.
Весь путь – от бочонков резного крыльца,
когда на постылые лавры венца
чужие задули амуры,
– до сваи, забитой в балтийскую топь,
которую как не стекли, не европь,
не вырубись из амбразуры.

При помощи – где топора, где весла
Россия сама себя переросла.
Ей прочит бессрочные вахты
.....
Так сгрудились под Синячихой возки
у самой заброшенной шахты.
И стали чекисты палить вразнобой
в столпившихся узников плотной гурьбой
да мазали мимо, вестимо.

Как долго еще из земной глубины,
заваленной наспех, казалось, слышны
окрест песнопенья монахинь!
Быть может, вот так – перед тем как сгореть,
пропащие, будем возможность иметь
вдруг преобразиться во прахе,
смешении алого дыма и льда.
Но эхо уже опоздает сюда –
под стены земного прилога,
напрасно оно соберется искать
кого подбодрить, а кому попенять,
за своды цепляясь убого.

Да полно тесниться! Уже и теперь
открыта на скобах заржавленных дверь,
не зря собираются вместе
готовные пальцы у влажного лба,
не зря вразумительно дарит судьба
летающие издали вести:
что вот – непорочное Слово хранит
как будто железную взвесь малахит,
иного значенья приметы,
– как мощи нетленные Ерусалим
при жизни утешившей платом своим
монахини Елизаветы.

7 декабря 1983

ПОКРОВ В ПЕЧОРАХ

Покрову 1977 года

1

Нас было двенадцать паломников в доме.
Башка примерзала под утро к соломе,
и скулы сводила ленца,
пока при честном огоньке у иконы
в гвоздок рукомойника тыкал ладони,
сгоняя дремоту с лица.

Под свежей, от тьмы отделяющей своды
побелкой, не сгладившей кладку породы,
звонарь нажимал без труда
ногой на рычаг из лохматых веревок
покойно, уверенно, без остановок
и перекрестился, когда

– над всей котловиною мощно убогой,
куда поспешали булыжной дорогой,
– поверх разветвленных стволов
скупым багрецом парусинячим взвился
и непрерываемо распространился
Владычицы нашей Покров.

2

Ветер сугубит ектинью
в долгих потемках один
держится, выпрастав клинья,
возле крыльца георгин.
Трепетно и благолепно
псково-печорский пропад
утром укутан в отрепья
кленов, когда листопад.

Вижу над ними воочью
ткань из беспримесных льнов,
алую к сосредоточью —
Матери Божьей Покров!

Если уже из придела
ставшее, было, мельчать
вынесли косное тело
в грубом гробу на плечах,
строго Покров пропускает
душу тогда сквозь рядно
и милосердно счищает
всю с нее спесь заодно.

3

Где осенних кистей сухожилия
держит ветер еще на плаву,
преподобному отче Корнилию
отрубил самодержец главу.
Но и впредь — через оторопь душную,
как ни страшно радеть на Руси,
не кольчугу, а ряску тщедушную
на натруженном теле носи.

Так остались без пастыря братия
и Владычица наша. С тех пор
окровавленный лоскут гиматия
вшит охранно в Ее омофор.

Чтоб просфора, давно испеченная,
не блазила знакомую мышь,
не увлек в праздноту отвлеченную
полированный четок катыш,
наши ижицы — красны заставками,
не хождением по воздушям.
...Лишь украдкой махни камилавкою
под Покров уходящим гусям.

4

Любимый отец Иоанн
раскачивал паникадило,
и дадена теплый туман
вдыхать обязательно было.
Чем больше смятенья в свечах
у вдруг застекленных кивотов,
тем гроб тяжелей на плечах,
кренящийся при поворотах.

Незнамо кому на позор
покойник во всем еще новом.
От паперти – на косогор
Покров опереньем кленовым
заботливо выстелил путь –
чтоб горло свели через годы
тот ветер над ямой по грудь,
развалины и недороды.

5

Когда над пещерным Успенским
с мощами, покойными в нем,
и далее – Пюхтицким женским
таинственным монастырем,
где лают ночами цепные
у келий, сугубя затвор,
и ярче поля силовые,

– расправила Мать омофор,
чей парус смиряют на кромках
жемчужин речных катыши,

мне был в благовестных потемках
там голос: "Отдай, не грехи,
последнему зверю берлогу".
Но всё в самостийном кругу
я слепо наследую слогу
и скупо строку берегу.

6

В рассеяньи сущий слабак,
ты помнишь, как в небо вожак
увел журавлиную стаю?

Да, я ничего не забыл,
подушную подать с могил
в скупую казну собираю.

За сыпкую ржавь на кресте,
усохшем в бузинном кусте,
убожество мраморной крошки
– я, может быть, душу отдам,
но не присоветую вам
моей запетлявшей дорожки.

Над лестницей деготных шпал,
куда бы карабкаться стал,
кусачками выев границу,
прошу: вместо лучших обнов,
Владычица наша, Покров
накинь на родную землю.

Чтоб нищенке стало тепло,
чтоб впредь на отлете крыло
Его милосердья касалось,
чтоб в своды вращал окоем
над сбившимся в стаи огнем
и Слово живым обреталось.

октябрь 1983

А тогда, в шестидесятые, и бороды мы еще не отрастили, и надежды на то, что все образуется, переменется, было побольше. Хотя, убежден, жертвенность, подвижничество и творчество как единственно верный путь спасения в общей неразберихе каждый из нашей плеяды — Леонид Губанов, я, Юрий Кублановский, Аркадий Пахомов, Саша Соколов и некоторые другие — осознали рано и навсегда.

Годы шли, и Юра, угловатый юноша, наивный и восторженный, ранимый и открытый, вытянулся, возмужал, сформировался как личность, оброс бородою, потом появилась и седина. На смену тонким, грациозным, полным артистичности, тайны, игры, недомолвок, обаяния, предчувствий ранним стихам с их ломким, но таким неповторимым голосом — пришли стихи совсем другие, с их синтезом, с их безмерной болью и с тем уникальным, совершенно особенным реализмом, который становился отныне основополагающим в творчестве Кублановского, ибо в сих строках дышала сама история страны.

Мне хотелось бы подчеркнуть, что Юрий Кублановский, в моем понимании, — истинный россиянин. Другого истолкования его позиции просто быть не может. Знал он свою страну как немногие, знал изнутри. Так уж вышло, что он, книгоеч, мечтатель, превосходный собеседник, человек обидчивый и отходчивый, доверчивый и вместе с тем пронзительный, "Фауст и фантаст", обладающий ошеломляющим лирическим даром, вел жизнь то бродяги, то отшельника.

Он работал как искусствовед на Севере. Собирал вместе с бичами какую-то морскую траву на Соловках, подрабатывая впрок. Был сотрудником небольших музеев. Бесконечно, неустанно, при первой же возможности — срывался с места, путешествовал. Маршруты его поездок тоже, кстати говоря, особенные, личностного толка. А еще он — подолгу пребывал в сторожах.

Ох, эти Юрины сторожки, его ночное одиночество, с неизменной книгой рядышком, с горячим чайком, с краюхой хлеба, с заполненной стихами тетрадкой и всегда заправленной черными чернилами авторучкой под рукою!.. Вспоминаю одну студеную зиму, когда, работая в Елоховском соборе дворником, намахавшись ломом и лопатой, заходил я с мороза погреться к Юре, сторожу сего собора, в тесную будку, а Юра, уже заварив чай, ждал меня, сидя в старом ватнике за столом, на котором лежала вышедшая совсем недавно и успевшая добраться к друзьям "Школа для дураков" Саши Соколова.

Навалившуюся после опубликования его статьи о Солженищине, буквально захлестывавшую горло травлю Кублановский встретил с редкостными мужеством и достоинством. Поэт был поставлен перед выбором: или стандартно-жесткие, по сути — губительные, меры против его "инакомыслия", или санкционированный незамедлительный отъезд на Запад.

Оказавшись в вынужденной эмиграции, Юрий Кублановский внутренне не расстался с родной страной. Ныне становится ясным, что он — то и есть гражданин, патриот. Все чаще называют всех нас провозвестниками перестройки, смотрят на нас как на героев, чуть ли не мучеников. Но, если вдуматься, все мы хорошо знаем, почему пресловутый фунт лиха.

Кублановский издал за рубежом четыре книги стихов. Мнение о нем как об одном из крупных современных русских поэтов все более утверждается. И это, действительно, верное определение.

В лирике Кублановского неразрывно связаны эпическое обобщение и точная, цепкая деталь, исповедь и подтекст, гражданская патетичность и целомудренно чистое чувство. Поэтическое зрение его безукоризненно. Весом свод написанных им произведений. В изданные книги вошло далеко не все, очень многое еще ждет издания. Им создана единственная в своем роде хроника совершенствования души, дана развернутая ретроспектива нашего времени.

Книга "Оттиск" — лишь небольшая часть обретшего более чем за четверть века ясные очертания Собрания стихотворений и поэм Юрия Кублановского, поэта и друга, чье возвращение — радость.

Владимир АЛЕЙНИКОВ



Книги Юрия Кублановского:

ИЗБРАННОЕ. (Сост. И. Бродский). "Ardis", 1981 г.

С ПОСЛЕДНИМ СОЛНЦЕМ. "La Presse Libre", 1983 г.

ОТТИСК. "УМСА-Press", 1985 г. ЗАТМЕНИЕ. "УМСА-

Press", 1989 г.